Т.Ю. КЛИМОВА
(*Иркутск*)

«Я» И «ДРУГОЙ» КАК ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ В РАССКАЗЕ В. МАКАНИНА «СТРАЖ»

Исследуется концепт «брат» как диалог между «я» и «другим» в рассказе В. Маканина «Страж».

Ключевые слова: *Маканин, «я», «другой», идентичность, архетип «брат», христианский сюжет.*

Опознание собственного «я» в «другом» и через «другого» (в терминах М. Бахтина и П. Рикёра) – одна из центральных проблем современной философии и эстетики. Для Рикёра «другой» раскрывается непосредственно в повествовании, где даже «я-сам» неизбежно остраняется как «другой», однако «“идентифицировать” еще не означает идентифицировать самого себя, но означает идентифицировать “что-то”» [8, с. 44]. Следовательно, «другой» есть условие этической оценки себя и мира. Бахтинское понимание «другости» также предполагает «неслиянную нераздельность» «я» и «другого», «я» и культуры, частичные смыслы которых образуют целое в диалоге. Ответственность «я» перед бытием проявляется через поступок, а «другой» необходим как соучастник и потенциальный свидетель предъявления «я» бытию [2, с. 56].

В предлагаемой статье рассматривается диалог «я» и «другого» в актуализации культурного концепта «брат», который образует в прозе В. Маканина ансамбль из трех текстов: «Страж», «Предтеча», «Андеграунд, или Герой нашего времени».

В рассказе «Страж» проблема идентичности, т.е. «соотнесенности чего-либо (“имеющего бытие”) с самим собой в связности и непрерывности собственной изменчивости» при наличии «“наблюдателя”, рассказывающего о ней себе и “другим” с целью подтверждения ее саморавности» [1, с. 400], оказывается в самом центре авторской концепции.

«Страж» как нарратив есть синхронное повествование об эпизоде отношений родных братьев, которое перебивается ретроспекциями и вставкой – воображаемым диалогом, создающим иллюзию фактуальности основного сюжета. Внешняя фокализация нарратора осуществляется в я-повествовании, не имеющем доступа к сознанию описываемых героев, и основное событие здесь – автопрезентация повествующего «я», его идеологических и ценностных установок. Наблюдаемое «я», или диегетический нарратор (В. Шмид), наравне с избытком графических выделений, отвечает интеллектуальной природе маканинского письма. Об этом свидетельствует работа А.В. Ивановой, посвященная анализу избыточных графических средств нарратива Маканина [4]. Т.Г. Кучина исследует проблему недостижимости «тождества субъекта сознания с самим собой» в нарративе романа «Андеграунд…» [6]. Мы рассматриваем выделение «нажимного» слова в составе притчи и притчевость как нарративную единицу аналитики маканинского письма в [5].

Первое условие идентификации наблюдаемого «я» задано прагматикой именования героев. По Рикёру, «привилегия имен собственных, даваемых людям, зависит от их последующей роли – подтверждать идентичность, а также самость-ipse этих людей» [8, с. 47]. В «Страже» вместо имен выделен статус родственности, и только «неродственная» Вика персонифицирована победительным именем. Это заведомо выводит сюжет к притче, к библейскому «все мы братья и сестры». Индивидуализация персонажей осуществляется в процессе интерпретации каждым участником предписанной ему семейной и человеческой роли.

Христианское содержание архетипа «брат» закреплено в культуре заветом «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Галатам, 6:2), т.е. готовностью разделить жизненную ношу ближнего, как Симон Киринеянин, понесший за Христом на Голгофу Его крест. В этом плане Библия даёт богатый материал для герменевтического толкования «я» через «другого». Матрица Ветхого Завета поставила этическую оцен-

© Климова Т.Ю., 2011

ку человека в прямую зависимость от выбора: быть или не быть сторожем брату своему. Вся русская религиозная философия определяет вектор «другого» как жертвенный обмен, поэтому абсолютным «другим» для С. Булгакова является Христос [3, с. 292], а у Н. Федорова мир «других» – это мир «родных», преодолевших «небратство» как онтологическую разлуку с родом, почвой и Космосом [9, с. 96, 118].

Переключатель библейского подтекста у Маканина срабатывает уже в первых знаках нарратива: приехавший из провинции поступать в столичный институт младший брат «сошел с поезда уже охраняемым. И тогда я тут же и невольно стал стражем. Щелк! В мире добавилась еще одна связанная пара»* (с. 102). Парность отношений отсылает к фундаменту близнечного мифа, одновременно высвобождая метафорический план заголовка и многие другие позиции связанности, «парности».

Связанность с братом в повествовании позиционирована как ролевая «игра»: старший берет на себя заботу, младший обязуется поступить в институт. Однако затеянной игре больше тысячелетия, и роль стража задана родственным и христианским этикетом, подразумевая отчетливую вертикаль: старший – Учитель, Отец. Эта торжественная формула при опознании получает ироническое расширение: «предполагалось, что я моему младшему брату в этот период и мать, и отец <…> и совесть, и ум, и все, что угодно» (с. 102). Ирония регулирует баланс между претенциозной ролью и реальными возможностями воспитания совершеннолетнего брата. Той же цели служит обыгрывание стилистического неравенства слов «страж» и «сторож»: первое соответствует онтологической игре, второе вступает в смысловые отношения с определениями «педантичный», «тупой». Отсюда принцип дублирующего удвоения, отвечающий за симметричную равновесность всей структуры. Это обусловлено сквозным параллелизмом бытовой и библейской историй. В бытовой истории младший брат не выполнил ни одного пункта этического «договора»: не оправдал надежд, «бил баклуши и говорил, что у него любовь» (с. 102), дважды сбежал от брата. В бытийной – ушел к своей Еве-Вике, которая первой сорвала плод с древа познания, закончив техникум, и в вуз поступила. Теперь она обучает младшего науке любви. Формально здесь озвучен сюжет грехопадения, но параллельно нарратив обнажает спровоцированность Творцом экзистенциальной ситуации: после греха Он оставил человека, предоставив ему абсолютную свободу выбора между добром и злом. Каин, как известно, выбрал грех.

Старший брат, исполнив обязательства «Отца», после повторного побега решил предоставить младшему ту же свободу, что и Творец – согрешившему человеку: «…я поклялся не быть сторожем – я поклялся спать, есть и жить. И ни в коем случае не бить тревогу» (с. 103), т.е. захотел, чтобы брат сам опомнился и вернулся домой. Следовательно, богоотступничество в сюжете симметрично мотивировано богооставленностью, и разрешение вопроса «где брат твой?» есть разрешение вопроса о том, где ты сам.

Равновесие идеологий в сюжете обеспечивает математическое равенство «мужской» и «женской» точек зрения на эту проблему: три персонажа с женской стороны (жена, двоюродная сестра, опосредованно – Вика) объединяются позицией ответственности; три персонажа с мужской (старший брат, муж сестры, младший брат) – позицией свободы от опеки. Жена старшего брата и двоюродная сестра излагают его обязанности в форме категорического императива: ты «должен» (с. 101, 103 и т. д.).

Позиция повествователя постоянно уточняется, но после второго побега старший решительно принимает «мужскую» точку зрения: припомнив «всех своих сорок сторожей, начиная с детского сада», он отказывается быть сторожем брату своему, предоставив тому возможность самостоятельного нравственного решения. Эта точка зрения поддержана некровным родственником – мужем двоюродной сестры, детским писателем: «А чего за ним гоняться? Пусть малый хлебнет воли» (с. 104).

Параллелизм двух учительских «ролей» на поверхности: старший брат опекал, «занимался по всем предметам» – писатель книгами учит подрастающее поколение, в жизни говорит, «как говорят с экрана лишь самые положительные герои» (с. 104), раздает советы «быть начеку», «протянуть руку».

Следует ли принять решение об отказе быть сторожем как авторское, если оно доверено двум «старшим»? Эта проблема решается как в событийном плане, так и в речевом. В событийном читатель информируется о том, что будущему «знатоку детской психологии» род-

* В тексте в круглых скобках указаны страницы из [7].

ственники в сорок втором сделали «бронь»: «Для них в свои двадцать лет он был и остался мальчиком <…> И вот он выжил. И к пятидесяти годам стал детским писателем. Причем хорошим детским писателем. И это не какой-то там парадокс, а факт» (с. 104). Формальным речевым признаком обозначения дистанции, во-первых, служит слово «парадокс». Оно отражает крах причинно-следственной логики: по факту нарушен онтологический порядок – право писателя учить не оправдано личной биографией. А парадокс в том, что бытие, потревоженное абсурдом, не ответило на нравственную провокацию: и талант не отнят, и бессонница не мучит. Кроме того, писатель исповедует *вольницу* – гуляй, греши, пока молодой; старший брат – ответственность *свободы*. Наконец, настойчивая аттестация родственника как знатока детской психологии звучит ироническим диссонансом к его невозмутимости и отражает недоверие к его слову. Таким образом, поддержка писателя угрожает бытийной идентичности «я» старшего брата: отразившись в «другом», он видит возможность интерпретации себя самого в знаках равнодушия к ближнему.

Другие мнения подвергаются столь же тщательному «взвешиванию». Фраза «Они были родственники. Они были пожилые, а *стало быть, возможно*, мудрые люди» (курсив мой – *Т.К.*) (с. 103) является риторической фигурой абсолютного равновесия полярных модальностей уверенности и неуверенности. Такая нарративная стратегия создает равноценный противовес любой доминирующей в конкретный момент повествования точке зрения.

Симметричность композиции рассказа усилена эффектом эха – ритмическим повтором связанных ситуаций: брат исчезает сначала в синхронном сюжете, а затем дважды – в воспоминаниях. Соответственно дважды в маканинском нарративе модифицируется вопрос Бога к Каину: «Ну и где мой брат?» (с. 102); «Я <…> спрашивал, где мой брат» (с. 105). Дважды брату вручаются «искусительные 25 руб.» как повод «расточить имение свое, живя распутно».

Попытка понять, почему родной человек выпал из зоны ответственности, потребовала от рассказчика обращения к прошлому опыту, поскольку из настоящего ответ не приходит. Так возникает ретроспективная параллель основному нарративу – эпизод, в котором повествователь-студент, находящийся примерно в том же возрасте, что и его брат «сегодня», приехал к брату-школьнику в лагерь. Точка зрения повествующего соотнесена с временной позицией акта повествования косвенно: «*в то лето* брат был мальчишкой, а я студентом», «трудно было *в ту минуту* представить, что через несколько лет он вымахает, как корабельная сосна. И что я найду его однажды в шкафу в комнате женского общежития» (курсив мой. – *Т.К.*) (с. 105). Повествуемое время здесь передано как прошедшее и предвосхищающее будущее.

В детстве брат сбежал от пионерского коллектива в природный рай и в разгар всеобщего веселья в одиночестве ловил на поляне шмелей. Интерпретировать побег как проявление проснувшейся в детстве индивидуальности в синхронном сюжете уже нет оснований: «Если бы он в свои восемнадцать лет не сбежал от меня на Курском вокзале, а стал гением, скажем, гениальным ученым, как Галуа, я бы <…> всем говорил, что гениальность-то можно было предвидеть. Что уже в детстве он искал свой путь. Был сам по себе. Был вдали от шумной толпы» (с. 106). Что изменила эта петля на временной оси основной истории? Выяснилось, что безответственность брата из прошлого невыводима, ибо жизнь не сводится к буквальным аналогиям. Но ретроспекция обнажила истину в параметрах остановленного времени: «брат… как бы навсегда застывший в моменте своего мальчишества» (с. 104) как гениальное творение не осуществился, а старший в теперешнем возрасте младшего уже был *стражем брату своему*. На фоне парных ситуаций третье упоминание о побеге закрепляет последний как устойчивую модель поведения в композиционном «кольце» начала и конца рассказа. Все беглецы Маканина (Виталик из «Портрета и вокруг», Костюков из «Гражданина убегающего») сначала бегут в большой мир, а затем убегают от своих открытий.

Инфантилизм молодого поколения, оценочно нигде не выраженный, также обоснован в характеристике речи. В частности, речь и мышление младшего брата свернуты в 21 реплику, в основном «Ага», «Что?», «А-а», «Да так…». Речевой модус Вики практически сведен к нулю: она трижды неискренне повторяет «Не знаю» в сцене «допроса».

Сочиненная история в сюжете появляется в тот момент, когда идентичность «я» старшего брата нарушается решением беглеца остаться с Викой. Это требует реабилитационного хода для восстановления самооценки, поэтому и рождается вымышленный диалог младшего

брата и Вики: «И, быть может, он говорил ей о том, как разумно и как тонко я его опекаю, ненавязчиво. Без шума <…> Не бегаю, не караулю, не подглядываю в окна. И тем сильнее он чувствует, что он не один и что я где-то рядом <…> Его брат» (с. 107).

Через тринадцать дней брат вернулся сам, но вопрос, впрок ли ему пошел опыт свободы, остается открытым. В ответе на него участвуют два финала рассказа: «желаемый» и «истинный». В «желаемом» блудный брат оценил усилия воспитателя: «…У него в этом огромном городе был страж. Который не навязывался, не лез в душу и в то же время оставался стражем» (с. 109). В таком разрешении ситуации идентичность «я» абсолютна, а результативность воспитательных усилий опекуна выводит классическую причинность и детерминированность мира.

Разбивка финала фабульным пуантом задает всему нарративу очередной смысловой и повествовательный сдвиг, в котором идиллия воссоединения семейства отменяется. Пять лет спустя уже в другом разговоре выясняется, что под стражем брат «имел в виду голубоглазую Вику. Не меня» (с. 109). Этот финал маркирует первый как заблуждение и самообман, а также оспаривает его синхронность: это также воспоминание, развернутое в перспективе еще одного среза времени: момента создания рассказа.

Фабула, таким образом, завершена посрамлением психолога и воспитателя: его прежнее повествуемое «я» (Отец, страж) «погибает» (В. Шмид). Сюжет, напротив, возвращает к состоянию гармонии пятилетней давности: «А в ту минуту я сидел рядом с братом как человек, который честно выполнил свой долг. Как старший. Как страж в лучшем и человечнейшем смысле этого слова» (с. 109).

Ожидаемое покаяние блудного брата не состоялось, и от свободы он получил только кайф. Родной повествователю человек в повествовательном акте выступает носителем такой же принципиально «другой» точки зрения, как и муж двоюродной сестры, и приписать брату собственную идентичность не удалось. Вопрос «Где брат мой?» для младшего – понятие чисто пространственное.

Таким образом, в процессе рассказа о «другом» уточняются следующие позиции наблюдаемого «я»: во-первых, «я» и «другой» имеют равные полномочия перед бытием; во-вторых, необходимость постоянного этического измерения «я» с учетом наличия «другого» потребовало его переписывания из четырех временных точек. Уходя от однозначных решений, Маканин переводит аксиологию в режим неопределенности, становления, отсюда дистанцированность нарратора от себя самого: он с братом, потому что помнит себя в его возрасте, как и своих сорок сторожей. И он не на его стороне, поскольку сам так бы не поступил. В-третьих, идентичность повествующего «я» по отношению к повествуемому «я» [10, с.78] неизменно проявляется в бытийной роли брата. В-четвертых, уравновешивание рифмующихся ситуаций отражает открытую реальность. Маканин определил место повествователя как ось симметрии и тем самым подтвердил предпочтительность принципа несудейства.

Литература

1. Абушенко В.Л. Идентичность // Новейший философский словарь. 2-е изд., перераб. и доп. Минск : Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. С. 400 – 404.
2. Бахтин М.М. Работы 1920-х годов. Киев: Next, 1994.
3. Булгаков С.Н. Человек // Свет Невечерний: Созерцания и умозрения. М. : Республика, 1994.
4. Иванова А.В. Субъективация повествования (на материале прозы Владимира Маканина) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Чита, 2008.
5. Климова Т.Ю. Притча в системе художественного мышления В. Маканина : автореф. дис. … канд. филол. наук. Иркутск, 1999.
6. Кучина Т.Г. Поэтика русской прозы конца XX – начала XXI в.: перволичные повествовательные формы : автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Ярославль, 2008.
7. Маканин В.С. Страж // Собрание сочинений : в 4 т. М. : Материк, 2002. Т. 1. С. 150 – 158.
8. Рикёр П. Я-сам как другой / пер. с франц. Б.М. Скуратова. М. : Изд-во гуманит. лит., 2008.
9. Федоров Н.Ф. Философия общего дела. М. : Эксмо, 2008.
10. Шмид В. Нарратология. М. : Яз. слав. культуры, 2003.

“I” and “Other” as a problem of identity in the story by V. Makanin “Guard”

There is regarded the concept “brother” as a dialogue between “I” and “Other” in the story by V. Makanin “Guard”.

Key words: *Makanin, “I”, “Other”, identity, archetype “brother”, Christian plot.*